

Распутин Валентин

Живи и помни

1

Зима на сорок пятый, последний военный год в этих краях простояла сиротской, но крещенские морозы свое взяли, отстучали, как им полагается, за сорок. Прокалившись за неделю, отстал с деревьев куржак, и лес совсем помертвел, снег по земле заскрип и покрошился, в жестком и ломком воздухе по утрам было трудно продохнуть. Потом снова отпустило, после этого отпустило еще раз, и на открытых местах рано затвердел наст.

В морозы в бане Гуськовых, стоящей на нижнем огороде у Ангары, поближе к воде, случилась пропажа: исчез хороший, старой работы, плотницкий топор Михеича. Сроду, когда надо было что-то убрать от чужих глаз, толкали под не пришитую половицу сбоку от каменки, и старик Гуськов, крошивший накануне табак, хорошо помнил, что он сунул топор туда же. На другой день хватился нет топора. Обыскал все — нет, поминай как звали. Зато, облазив вдоль и поперек баню, обнаружил Михеич, что топор — не единственная его потеря: кто-то, хозяйничавший здесь, прихватил заодно с полки добрую половину

листового табаку-самосаду и позарился в предбаннике на старые охотничьи лыжи. Тогда-то и понял старик Гуськов, что вор был дальний и топора ему больше не выдать, потому что свои, деревенские, лыжи не взяли бы.

Настена узнала о пропаже вечером, после работы. Михеич за день не успокоился: где теперь, в войну, возьмешь такой топор? Никакого не возьмешь, а этот был словно игрушечка — легкий, бриткий, как раз под руку. Настена слушала, как разоряется свекор, и устало думала: чего уж так убиваться по какой-то железяке, если давно все идет вверх тормашками. И лишь в постели, когда перед забытием легонько занывает в покое тело, вдруг екнуло у Настены сердце: кому чужому придет в голову заглядывать под половицу? Она чуть не задохнулась от этой нечаянно подвернувшейся мысли, сон сразу пропал, и Настена долго лежала в темноте с открытыми глазами, боясь пошевелиться, чтобы не выдать кому-то свою страшную догадку, то отгоняя ее от себя, то снова подбирая ближе ее тонкие, обрывающиеся концы.

В эту ночь Настена не выспалась, а утром чуть свет решила сама заглянуть в баню. Она не пошла по телятнику, где в снегу была вытоптана дорожка, а по общему заулку спустилась к Ангаре и

повернула вправо, откуда над высоким яром виднелась за городьбой крыша бани. Постояв внизу, Настена осторожно поднялась по обледенелым ступенькам вверх, перелезла, чтобы не скрипнуть калиткой, через заплот, потопталась возле бани, боясь войти сразу, и лишь тогда тихонько потянула на себя низенькую дверку. Но дверка пристыла, и Настене пришлось дергать ее изо всех сил. Нет, значит, никого тут нет, да и не может быть. В бане было темно, маленькое окошечко, выходящее на Ангару, на запад, только-только начинало заниматься блеклым полумертвым светом. Настена села на лавку у окошечка и чутко, по-звериному стала внюхиваться в банный воздух, пытаясь найти новые и непривычные, знакомые когда-то давно запахи, но ничего, кроме резкого и горьковатого духа подмерзшей прели, отыскать не смогла. «Выдумала, дура, чего-то», — упрекнула она себя и поднялась, не понимая толком, зачем она сюда приходила и что тут хотела найти.

Днем Настена возила с гумна солому на колхозный двор и всякий раз, спускаясь с горы, как замороженная посматривала на баню. Одергивала себя, злилась, но пялилась на темное и угловатое пятно бани снова и снова. Солому приходилось выколупывать из-под снега железными вилами,

набрасывая на сани по жвачке, и за три ездки терпеливая к любой работе Настена умаялась так, что хоть веди под руки. Сказалась, видно, к тому же бессонная ночь. Вечером, едва поев, Настена упала в постель как убитая. То ли ей что ночью приснилось, да она заспала и забыла, то ли на свежую голову пало само, но только, проснувшись, она уже точно знала, что делать дальше. Выбрала в амбаре самую большую ковригу хлеба, завернула ее в чистую холстину и тайком отнесла в баню, оставив хлеб на лавке в переднем углу. Посидела еще, подумала, размышляя, в своем она уме или нет, и ушла, притворив за собой дверку с тайным, заклинаящим вздохом.

Два утра после этого проверяла Настена — ковригу никто не тронул. Тогда она обменяла ее на другую, свежей выпечки, и положила туда же, на видное место. Она уже ни на что не надеялась, но какая-то беспокойная, упрямая жуть в сердце заставляла ее искать продолжения истории с топором. Не мог чужой догадаться, что под плахой тайник, — вот она, плаха, намертво лежит рядом с другими, не шевельнется, не дрогнет, хоть пляши на ней. Или кто подглядел? Хлеб, хлеб должен указать, кто это был, против хлеба устоять трудно.

Еще через два дня коврига исчезла! Не найдя ее на месте, Настена испугалась. Бессильно, со

стоном опустилась она на лавку и покачала головой: нет, не может быть. Не может этого быть! Наверно, зашел свекор или свекровь, увидели тут ковригу и прибрали домой. Вот и все объяснение. Настена кинулась на колени — на полу валялись хлебные крошки. Нет, не свекор и не свекровь, кто-то другой. В каменке, в холодной золе, Настена разворошила окурки.

С этого часа она словно бы выглядывала из себя: что же будет дальше? Справляла домашнюю работу, ходила на работу колхозную, оставаясь на людях такой же, какой была всегда, а сама все время озиралась, пугаясь каждого стороннего звука. Но ждать, когда не знаешь как следует, чего ждешь, было больше не вмоготу, и на субботу Настена затеяла баню. Семеновна отговаривала, ссылаясь на морозы, но Настена настояла на своем: она сама натаскает воды, сама протопит, им останется только помыться.

Она могла бы спроворить баню быстро, дело нехитрое, но нарочно не стала торопиться. Наколола пополам с сосновыми негарких березовых дров, позже обычного растопила каменку. День был холодный — морозы только еще начинали сдавать, — но спокойный и ясный. Поднимаясь от Ангары с водой, Настена невольно всякий раз посматривала на дым из трубы: его черный от березы, прямой столб уходил без ветра

высоко и был виден издалека. Она нагрела полный, сверх надобности, чан воды, помыла пол и полок, прикрыла трубу и уже в сумерках пошла звать стариков, не забыв сказать им, чтобы они прихватили с собой керосину для лампы.

Она была как во сне, двигаясь почти ощупью и не чувствуя ни напряжения, ни усталости за день, но делала все точно так, как и задумала. Дождалась стариков, собрала белье и на вопрос Семеновны, с кем пойдет мыться, соврала, что пойдет с Надькой. Обычно Настена звала с собой в баню кого-нибудь из соседок; смотреть на свое голое закисающее тело было больно и горько, на глаза наворачивались слезы. Но сегодня ей предстояло обойтись без подружки. В темноте, когда ночь еще не выстоялась и не посветлела, Настена добралась до бани, занавесила изнутри тряпкой окошечко и разделась, решив похлюпать наскоро, потому что ее загаданный час, по всей видимости, должен был наступить позже.

Помывшись, Настена вернулась домой, прибрала при лампе перед зеркалом волосы и сказала старикам, что пойдет посидеть к Надьке, с которой будто бы ходила в баню. К Надьке Настена и правда заскочила, но ненадолго и без всякого дела, лишь бы показаться на глаза. Она торопилась обратно в баню. Тихонько, по-воровски, подкралась к двери, опасаясь, что опоздала, и прислушалась,

нет ли кого внутри, потом осторожно вошла. Баня еще не выстыла, и, чтобы не взопресть, Настена пристроилась на порожке. Если кто и появится, она успеет подняться и посторониться, а пока оставалось только ждать.

Из деревни доносились последние слабые голоса, лай собак, затем все стихло. На Ангаре изредка с тугим бегущим звоном покалывало лед, да вздыхала, остывая, баня. Настена сидела в полной темноте, едва различая окошко, и чувствовала себя в оцепенении маленькой несчастной зверюшкой. Что бы человеку здесь среди ночи делать? Она попыталась о чем-нибудь думать, что-нибудь вспомнить и не смогла: то, что просто было среди людей, здесь оказалось невозможным.

Позже, когда от двери стало сильно поддувать, она перешла на лавку.

Видно, она все-таки задремала, потому что не слышала шагов. Дверь вдруг открылась, и что-то, задевая ее, шебурша, полезло в баню. Настена вскочила.

— Господи! Кто это, кто? — крикнула она, обмирая от страха. Большая черная фигура на мгновение застыла у двери, потом кинулась к Настене.

— Молчи, Настена. Это я. Молчи.

В деревне взнялись и затихли собаки.

Атамановка лежала на правом берегу Ангары и была всего на тридцать дворов — не деревня, а деревушка. Несмотря на свое звучное название, лежала она одиноко и потихоньку да помаленьку, еще с довоенных лет, хирела: уже пять изб — и избы крепкие, не какие-нибудь развалюхи, — стояли мертво, с заколоченными окнами. Почему мелели деревни в войну, и объяснять нечего, тут причина на всех одна, но из Атамановки люди начали сниматься еще раньше, особенно молодые, из тех, кто не успел зарости своим хозяйством. Их сманивали к себе поселения побольше да пошумней, с видом на будущее, а у Атамановки его не было. Она построилась когда-то на отшибе, до самой ближней деревни по своей стороне, до Карды, где располагался сельсовет, к которому была приписана Атамановка, насчитывалось больше двадцати верст. Правда, до Рыбной на другом берегу Ангары было ближе, но Рыбная всегда держалась своих нижних соседей: там сельсовет, магазины, начальство, в ту сторону район, туда и шли со всякой нуждой, а в Атамановку заплывали редко. Мимо Атамановки шлепали пароходы, провозили новости — многое проходило мимо нее, маячившей на берегу тускло и

сиротливо. Даже о войне здесь узнали только на другой день.

Судьба ее, надо сказать, не вечно была такой незаметной. Свое название Атамановка получила от другого, еще более громкого и пугающего — от Разбойниково. Когда-то в старые годы здешние мужички не брезговали одним тихим и прибыльным промыслом: проверяли идущих с Лены золотишников. Деревня для этого стоит куда как удобно: хребет здесь подходит почти вплотную к Ангаре, и миновать деревню стороной никак нельзя, хочешь не хочешь, а надо выходить на дорогу. В самом узком месте возле речки отчаянные головы и караулили ленских старателей — слава такая о деревне держалась прочно. От устной молвы название «Разбойниково» переключалось в бумаги, но еще до Советской власти кому-то в волости оно показалось неприличным, и его заменили «Атамановкой» — и смысл вроде остается, и уши не коробит. Местный народ, кстати, с этим переименованием почему-то не согласился. Еще и теперь, спустя много лет, старики из Карды, из Рыбной, из других деревень, как сговорившись, повторяли одно и то же:

— Вся деревня занималась разбоем, а захотели на какого-то атамана свалить. Нет уж, не выйдет.

Настену в Атамановку судьба занесла с

верхней Ангары. В голодном тридцать третьем году, похоронив в родной деревне близ Иркутска мать и спасаясь от смерти сама, шестнадцатилетняя Настена собрала свою малую, на восьмом году, сестренку Катьку и стала спускаться с ней вниз по реке, где, по слухам, люди бедствовали меньше. Отца у них убили еще раньше, в первый смутный колхозный год, и убили, говорят, случайно, целя в другого, а кто целил — не нашли. Так девчонки остались одни. Все лето Настена и Катька шли от деревни к деревне, где подрабатывая на ужин, где обходясь подаянием, которое давали ради маленькой и хорошенькой Катьки. Без нее Настена, наверно, пропала бы. Сама она походила на тень: длинная, тощая, с несуразно торчащими руками, ногами и головой, с застывшей болью на лице. Только Катька, для которой Настена осталась вместо матери, заставляла ее шевелиться, предлагать себя в работницы, просить кусок хлеба.

К осени сестры кое-как добрались до деревни Рютина, где, Настена помнила, жила тетка по отцу. Та поворчала, поворчала, но девчонок приняла. Настена, отдышавшись, пошла в колхоз, Катьку отправила в школу. К этому времени стало полегче: принесли свое огороды, поспели хлеба. Голод, когда есть чем лечить его, лечить нетрудно, и уже к зиме Настена мало-помалу взялась поправляться. А на следующий год ухнул такой урожай, что не

отъестся было бы стыдно. Постепенно у Настены разгладились ранние морщины на лице, налилось тело, на щеках заиграл румянец, осмелели глаза. Из недавнего чучела вышла невеста хоть куда. Там, в Рютиной, и встретил ее спустя два года Андрей Гуськов, чужой, но расторопный и бравый парень, сплавлявший на плотях горючее, которое брали в цистернах неподалеку от этой деревни. Сговорились они быстро: Настену подстегнуло еще и то, что надоело ей жить у тетки в работницах, гнуть спину на чужую семью. Доставив в МТС бочки с горючим, Андрей тут же, не мешкая, прикатил на пароходе обратно и увез Настену в свою Атамановку.

Настена кинулась в замужество, как в воду, — без лишних раздумий: все равно придется выходить, без этого мало кто обходится — чего ж тянуть? И что ждет ее в новой семье и в чужой деревне, она представляла плохо. А получилось так, что из работниц она попала в работницы, только двор другой, хозяйство покрупней да спрос построже. Гуськовы держали двух коров, овец, свиней, птицу, жили в большом доме втроем, Настена пришла четвертой. И вся эта тягость сразу свалилась на ее плечи. Семеновна давно уже ждала невестку, чтобы сделать себе наконец послабление, и, дождавшись, расхворалась, у нее стали сильно отекать ноги, ходила она тяжело, переваливаясь с

боку на бок, как утка. Но хозяйкой оставалась она, всю жизнь Семеновна крутила это колесо, и сейчас другие руки, взявшиеся за него, казались ей и неловкими и ленивыми потому лишь, что это были не ее руки.

Характер у нее выказался не сладкий: то она принималась ворчать, не терпя ни возражений, ни оправданий, то в злости надувалась и не хотела сказать ни слова — надо было иметь каменное, как у Настены, терпение, чтобы не схватиться с ней и не разругаться. Настена обычно отмалчивалась, она научилась этому еще в то кусочное лето, когда обходила с Катькой ангарские деревни и когда каждый, кому не лень, мог ни за что ни про что ее облаять. Конечно, будь она из местных, из атамановских, живи тут же ее родня, которая при случае могла заступиться, не дать в обиду, то и отношение к ней было бы другое, но она, сирота казанская, неизвестно откуда взялась, принесла с собой приданого одно платьишко на плечах, так что и справу ей, чтобы показаться на люди, пришлось гоношить здесь же — вот как осело на душе у Семеновны, вот что в ненастную пору подливало ей масла в огонь.

Впрочем, с годами Семеновна свыклась с Настеной и ворчала все меньше и меньше, признав, что невестка ей попалась и покладистая, и работающая. Настена успевала ходить в колхоз и

почти одна везла на себе хозяйство. Мужики знали только заготовить дров и припасти сена. Ну и если бы крыша над головой упала, тоже подняли бы, а скажем, принести с Ангары воды или почистить в стойке считалось неприличным для мужика, зазорным занятием. Семеновна на своих ходулях далеко достать не могла, всюду вертелась Настена, без которой уже нельзя было обойтись, и это поневоле смиряло свекровь. Одно она не хотела ей простить — то, что у Настены не было ребятишек. Попрекать не попрекала, помня, что для любой бабы это самое больное место, но на сердце держала, тем более что и Андрей у них с Михеичем остался единственным, за первого, второго и третьего, потому что две девчонки до него не выжили.

Бездетность-то и заставляла Настену терпеть все. С детства слышала она, что полая, без ребятишек, баба — уже и не баба, а только полбабы. Настена и не подозревала в себе этой порчи и пошла замуж легко, заранее зная бабью судьбу, радуясь самой большой перемене в своей жизни и немножко, задним числом, как это обычно бывает, жалея, что походила в девках мало. Андрей был с ней ласковым, называл кровиночкой, они на первых порах и не думали о ребятишках, просто жили друг возле друга, наслаждаясь своей близостью, и только. Ребенок мог бы этому счастьем

даже помешать. Но затем как-то исподволь, исподтишка, оттого лишь, что появилась опасность нарушения извечного порядка семейной маеты, возникла откуда-то тревога: то, чего вначале избегали и боялись, теперь начали караулить — будет или не будет? Шли месяцы, ничего не менялось, и тогда ожидание переросло в нетерпение, потом — в страх. За какой-то год Андрей полностью переменялся к Настене, стал занозистым, грубым, ни с того ни с сего мог обругать, а еще позже научился хвататься за кулаки.

Настена терпела: в обычае русской бабы устраивать свою жизнь лишь однажды и терпеть все, что ей выпадет. К тому же виноватой в своей доле Настена считала себя. Лишь однажды, когда Андрей, попрекая ее, сказал что-то совсем уж невыносимое, она с обиды ответила, что неизвестно еще, кто из них причина — она или он, других мужиков она не пробовала. Он избил ее до полусмерти.

Правда, последний год перед войной они прожили легче, как бы начиная заново свыкаться друг с другом, хорошо теперь уже зная, что друг от друга можно ждать, и прибываясь к старинному правилу: сошлись — надо жить.

Ласки от Андрея Настена по-прежнему видела немного, но и дурить он стал заметно меньше.

Настена и этому была рада: они еще молодые, со временем все наладится. И если бы не война, может, так бы оно и вышло, да началась война, покорежила и не такие надежды.

Андрея взяли в первые же дни. Настена поголосила, поголосила и смирилась. Не она одна, у других, оставшихся с ребятишками, беда похлеще. Кажется, впервые за все годы замужества ее успокоила и обнадежила своя бездетность. Зря она обижалась на судьбу, судьба ей выпала разумная, далеко вперед разглядевшая лихо, которое сейчас свалилось на людей, и заранее устроившая так, чтобы перемочь ей это лихо одной. Потом, в добрую пору, пойдут и дети, еще не поздно. Лишь бы вернулся Андрей. Этим она и жила, пока тянулась война, этим и дышала в то страшное время, когда никто не знал, что будет завтра.

Андрей долго воевал удачно, но летом сорок четвертого года вдруг пропал. Лишь через два месяца пришло от него из Новосибирска, из госпиталя, письмо, в котором он сообщал, что ранен и что после поправки на несколько дней должны отпустить домой. Это обещание и удержало Настену от поездки в Новосибирск, хоть поначалу она и собралась к мужику. Если отпустят, лучше увидеться дома — так они и рассчитывали. Но Андрей ошибся: поздней осенью он коротко и обиженно написал, что нет, ничего не выйдет, из

госпиталя его выписывают, но отправляют обратно на фронт.

И снова пропал.

Перед рождеством в Атамановку нагрянули председатель сельсовета из Карды Коновалов и конопатый участковый милиционер по фамилии Бурдак, которого за глаза звали Бардаком. От Ангары они повернули жеребца прямо к избе Гуськовых. Настены дома не было.

— Какие имеете известия от сына? — строго, как на допросе, спросил Бурдак у Михеича.

Ему показали последние письма Андрея. Бурдак прочитал их, дал прочитать Коновалову и спрятал к себе в карман.

— Больше он о себе ничего не сообщал?

— Нет. — Растерявшийся Михеич наконец пришел в себя. — А че такое с им? Где он?

— Вот это мы и хотим выяснить — где он? Потерялся где-то ваш Андрей Гуськов. Даст о себе знать — сообщите нам. Понятно?

— Понятно.

Ничего не было понятно Михеичу. Ни ему, ни Семеновне, ни Настене.

А в крещенские морозы из тайника под половицей в гуськовской бане исчез топор.

— Молчи, Настена. Это я. Молчи.

Сильные, жесткие руки схватили ее за плечи и прижали к лавке. От боли и страха Настена застонала. Голос был хриплый, ржавый, но нутро в нем осталось прежнее, и Настена узнала его.

— Ты, Андрей?! Господи! Откуда ты взялся?!

— Оттуда. Молчи. Ты кому говорила, что я здесь?

— Никому. Я сама не знала.

Лица его в темноте она не могла рассмотреть, лишь что-то большое и лохматое смутно чернело перед ней в слабом мерцании, которое исходило в углах задернутое оконце. Дышал он шумно и часто, натягивая грудь, словно после тяжелого бега. Настена почувствовала, что и она тоже задыхается, настолько неожиданно, как Настена ни подозревала ее, свалилась эта встреча, настолько воровской и жуткой с первых же минут и с первых же слов она оказалась.

Он убрал наконец руки и чуть отступил назад. Все еще неверным, срывающимся голосом спросил:

— Искали меня?

— Милиционер недавно приезжал и с ним Коновалов из Карды. С отцом разговаривали.

— Отец, мать догадываются про меня?

— Нет. Отец думал, топор кто чужой взял.

— А ты, значит, догадалась? Она не успела ответить.

— Хлеб ты приносила?

— Я.

Он помолчал.

— Ну вот, встретились, Настена. Встретились, говорю, — с вызовом повторил он, будто ждал и не дождался, что она скажет. — Не верится, что рядом с родной бабой нахожусь. Не надо бы мне ни перед кем тут показываться, да одному не перезимовать. Хлебушком ты меня заманила. — Он опять больно сдвинул ее плечо. — Ты хоть понимаешь, с чем я сюда заявился? Понимаешь или нет?

— Понимаю.

— Ну и что?

— Не знаю. — Настена бессильно покачала головой. — Не знаю, Андрей, не спрашивай.

— Не спрашивай... — Дыхание у него опять поднялось и запрыгало. — Вот что я тебе сразу скажу, Настена. Ни одна собака не должна знать, что я здесь. Скажешь кому — убью. Убью — мне терять нечего. Так и запомни. Откуда хошь достану. У меня теперь рука на это твердая, не сорвется.

— Господи! О чем ты говоришь?!

— Я тебя не хочу пугать, но запомни, что сказал. Повторять не буду. Мне сейчас податься больше некуда, придется околачиваться здесь, возле тебя. Я к тебе и шел. Не к отцу, не к матери — к тебе. И никто: ни мать, ни отец — не должен обо мне знать. Не было меня и нету. Пропал без

вести. Убили где по дороге, сожгли, выбросили. Я теперь в твоих руках, больше ни в чьих! Но если ты не хочешь этим делом руки марать — скажи сразу!

— Что ты меня пытаешь?! — простонала она. — Чужая тебе, что ли? Не жена, что ли?

Настена с трудом помнила себя. Все, что она сейчас говорила, все, что видела и слышала, происходило в каком-то глубокому и глухом оцепенении, когда обмирают и немеют все чувства! и когда человек существует словно бы не своей, словно бы подключенной со стороны, аварийной жизнью. В таких случаях страх, боль, удивление, озарение наступают позже, а до тех пор, пока? человек придет в себя, в нем несет охранную службу трезвый, прочный и почти бесчувственный механизм. Настена отвечала и слабой, отстранившейся своей памятью сама же не понимала, как может она обходиться этими случайными и пресными, ничего не выражающими словами, — после трех с половиной лет разлуки, когда любой день грозил быть последним, и после того, что, оборвав этот срок, свалилось на них теперь?! Она не понимала почему сидит без движения, когда надо было бы, наверно, что-то делать — хоть обнять на первый раз и приветить мужа, встречу с которым голубила чуть не каждую ночь. Надо бы... но она продолжала сидеть как во сне, когда видишь себя лишь со стороны и не

можешь собой распорядиться, а только ждешь, что будет дальше. Да и вся эта встреча — в бане среди ночи, отчаянной украдкой, не имея возможности взглянуть друг другу в лицо а только, как слепым, угадывать друг друга, с горьким и почтя бессознательным шепотом, с настороженностью и страхом, — вся эта встреча выходила чересчур неправдашной, бессильной пригрезившейся в дурном забытии, которое канет прочь с первым же светом. Не может быть, чтобы она осталась на завтра, послезавтра, навсегда, потянула за собой и другие, столь же мучительные и несчастные встречи.

Тяжелой, подрагивающей рукой он погладил Настену по голове. Это было первое, похожее на ласку, прикосновение. Настена вздрогнула и сжалась, по-прежнему не зная, что делать и что говорить. Он убрал руку, спросил:

— Как вы тут хоть жили?

— Тебя ждали, — сказала она.

— Дождались. Дождались-ись. Герой с войны пришел, принимай, жена, хвастай, зови гостей.

Продолжать этот разговор было ни к чему. Так много всего свалилось на них одним махом, такой клубок неясного, нерешенного, запутанного громоздился перед ними, что подступаться к нему, откуда ни возьми, было страшно. Они долго молчали, потом Настена, вспомнив, предложила:

— Может, помоешься?

— Надо помыться, — торопливо и даже как будто обрадовано согласился он. — Ты же для меня баню топила, я знаю. Скажи, для меня?

— Для тебя.

— Я уж и не помню, когда мылся.

Он отошел к каменке, булькнул там в чане водой.

— Остыла, поди, совсем? — зачем-то спросила она.

— Сойдет.

Настена слышала, как он нашарил по памяти деревянный костыль у двери и повесил на него полушубок, как стянул у порожка валенки и стал раздеваться. Чуть различимая корявая фигура приблизилась к Настене.

— Ну что, Настена, один я не справлюсь. Подымайся, спину потереть надо.

Он повалил ее на пол. От бороды его, которой он тыкался Настене в лицо, почему-то пахло овчиной, и она все время невольно отворачивала лицо на сторону. Все произошло так быстро, что Настена не успела опомниться, как, взъерошенная и очумелая, снова сидела на лавке у занавешенного оконца, а на другой лавке, осторожно пофыркивая, плескался этот полужнакомый человек, ставший опять ее мужем. И ничего — ни утешения и ни горечи — она не ощутила, одно только слабое и

далекое удивление да неясный, неизвестно к чему относящийся стыд.

Он помылся и стал одеваться.

— Надо было хоть белье тебе принести, — сказала Настена, все время заставляя себя не казаться чужой, подталкивая себя к разговору.

— Черт с ним, с бельем, — отозвался он. — Я тебе сейчас скажу, что перво-наперво понадобится. Завтра отдохни, выпись, а послезавтра переправь-ка сюда мою «тулку», пока меня зверь не загрыз. Живая она?

— Живая.

— Ее обязательно. Спички там, соль, какую-нибудь посудину для варева. Сама сообразишь, что надо. Провиант к патронам у отца поскреби, да только так, чтоб не заметил.

— А что я ему скажу про ружье?

— Не знаю. Что хошь говори. Как-нибудь вывернешься... Запомни еще раз: никто про меня не должен даже догадываться. Никто. Не было меня и нет. Ты одна в курсе... Придется тебе пока подкармливать меня хоть немножко. Принесешь ружье — мяса я добуду, а хлеб не подстрелишь. Послезавтра приду так же попозже. Рано не ходи, смотри, чтоб не уследили. Теперь ходи и оглядывайся, ходи и оглядывайся.

Он говорил спокойно, ровно, голос его в тепле заметно отмяк, и все же в нем слышалось и

нетерпение, и постороннее тревожное усилие.

— Погрелся, помылся, даже подфартило с родной бабой поластиться. Пора собираться.

— Куда ты пойдешь? — спросила Настена.

Он хмыкнул:

— Куда... Куда-нибудь. К родному брату, к серому волку. Не забудешь, значит, послезавтра?

— Не забуду.

— И подожди меня здесь, а там уговоримся, как дальше. Ну, я поехал. Ты немножко помешкай, сразу не вылазь.

Он зашуршал полушубком и примолк.

— Ты хоть сколько рада, что я живой пришел? — неожиданно спросил он с порога.

— Радая.

— Не забыла, значит, кто такой я тебе есть?

— Нет.

— Кто?

— Муж.

— Вот: муж, — с нажимом подтвердил он и вышел.

Мало что понимая, она вдруг спохватилась: а муж ли? Не оборотень ли это с ней был? В темноте разве разберешь? А они, говорят, могут так прикинуться, что и среди бела дня не отличишь от настоящего. Не умея правильно класть крест, она как попало перекрестилась и зашептала подвернувшиеся на память, оставшиеся с детства

слова давно забытой молитвы. И замерла от предательской мысли: а разве не лучше, если бы это и вправду был только оборотень?

4

Андрей Гуськов понимал: судьба его свернула в тупик, выход из которого нет. Вперед еще есть какой-то путь, совсем, видно недалкий, пока не упруешься в стену, а поворотить назад уже нельзя... Ничего не выйдет. И то, что обратной, дороги для него не существовало, освобождало Андрея от излишних раздумий. Теперь приходилось жить только одним: будь что будет.

В эти первые, прожитые в родных местах дни больше всего его донимали воспоминания о том, как три с половиной года назад он уезжал отсюда на фронт. Вся череда почти двух недель от первого известия о войне до прибытия в Иркутск, где формировалась дивизия, вставала перед ним настолько живо и ярко, что становилось не по себе от ее близости, от ее словно бы вчерашней законченности. Память удержала даже чувства, которые он испытывал, и чувства эти, похоже, теперь повторялись: та же, что и тогда, была сейчас в нем оглушенность, неспособность соображать, что будет дальше, та же ненадежность всего, что с ним случилось, злость, одиночество, обида, тот же

холодный, угрюмый и неотвязный страх — многое, вплоть до случайных настроений, было тем же, с одной лишь громадной разницей: все это теперь оказалось словно бы вывернутым своей обратной, изнаночной стороной, которая подтверждалась и обстановкой. Вот он там же, где был, откуда начинал свой поход, но уже не на правом, а на левом берегу Ангары, и тогда стояло лето, а сейчас глухая зима. Тогда он уходил на войну, теперь вернулся, тогда уходил вместе со многими и многими, теперь пришел назад один, своей, отдельной дорожкой. Судьба, сделав отчаянный вывертыш, воротила чего на старое место, но по-прежнему, как и тогда, во всю близь, во весь рост перед ним стояла смерть, зашедшая на этот раз для верности со спины, чтобы он не смог уйти. Он вообще существовал сейчас какой-то обратной, спячивающейся жизнью, в которой невозможно понять, куда ступишь следующим шагом. После этой его жизни воспоминания, похоже, остаться не могли.

Семь атамановских мужиков, призванных по первому набору, в числе которых был и Гуськов, уезжали из деревни на пяти ходках: провожающих набралось почти столько же, сколько фронтовиков. Но Андрей простился со своими дома: ни к чему растягивать слезы и причитания, а себе травить попусту душу. То, что приходится обрывать, надо

обрывать сразу, так же сразу он надеялся когда-нибудь (а то до этого уже было недалеко) закончить жизнь, не хватаясь за надежды, которые не держат. Он обнялся с матерью, отцом и Настенкой у ворот, прыгнул в ходок и понужнул коня, а отъезжая, выдержал не оглянуться; только за поскотиной, когда Атамановка скрылась из виду, он натянул вожжи и дождался остальных, чтобы ехать одним обозом.

В Карде они пересели на пароход, к которому подгадывали, и спустились на нем в райцентр, а через день этот же пароход на обратном пути повез собранную со всего района команду в Иркутск. Рано утром проплывали мимо Атамановки. Карауля ее, не спали, еще издали принялись вразнобой кричать, не понимая, что и, главное, зачем кричат, но Андрей смотрел на деревню молча и обиженно, он почему-то готов был уже не войну, а деревню обвинить в том, что вынужден ее покидать. Мужики все же добились: на берег выскочили люди и тоже в ответ закричали, замахали платками, фуражками, но пароход шел далеко, и узнать кого-нибудь или услышать было нельзя. Андрею показалось, что он видел среди них Настенку; он не был в точности уверен, что это она однако обозлился: зачем, ну зачем устраивать эту никому не нужную потеху? Простились, все, что следовало, сказали друг другу — достаточно, войну не

заворотишь. Но знай он, что та фигура которую он принял за Настену, действительно Настена и была, ему, пожалуй, стало бы легче, а злость потому и проглянула, что он этого наверняка не знал. Невольная обида на все, что оставалось на месте, от чего его отрывали и за что ему предстояло воевать, долго не проходила, она и вызвала то обещание, которое он тогда дал, о котором помнил все эти годы и которое теперь ненароком сдержал. Не ради него он, конечно, вернулся, нет, но и оно сейчас, исполнившись, с самого начала не казалось пустым, и в нем чудилась какая-то приманчивая и достоверная сила, взявшаяся помогать Гуськову в его судьбе.

Пароход шлепал против течения трое суток, ехали шумно, ордой, всю отдавшись горькому веселью, хорошо понимая, что это последние свободные и безопасные дни. Андрей держался особняком, он не приучился к водке. Подолгу, как истукан, торчал на борту и смотрел перед собой. В разгаре было лето, все дни ходило по небу яркое солнце, катилась Ангара, от которой в воздухе стоял звон, и плыли, плыли мимо знакомые берега, деревни и острова, плыли и уплывали, скрываясь позади. При одной мысли, что он, быть может, видит все это в последний раз, у Гуськова схватывало сердце. Лучше было бы спуститься вниз и присоединиться к своим — не ему одному было

тошно, или завалиться спать, подложив мешок под голову, забыться, потеряться, пока не поднимут по команде, но он не уходил и, донимая душу тоскливой пыткой, терзая и жалея себя, продолжал смотреть, думать и мучиться. И чем больше он смотрел, тем ясней и непоправимей замечал, как спокойно и безразлично к нему течет Ангара, как равнодушно, не замечая его, скользят мимо берега, на которых он провел все свои годы, — скользят, уходя к другой жизни и другим людям, к тому, что придет ему на смену. Его обидело: что же так скоро? Не успел уехать, оторваться, а уже позабыто, похоронено все, чем он был и чем собирался стать: значит, ступай и умирай, ты для нас конченный человек. Да неужели и впрямь конченный? Отказываясь, со взывавшим недобрый упрямством он вслух пообещал:

— Врете: выживу. Рано хороните. Вот увидите: выживу. Уж с вами-то ни черта не сделается — увидите.

На фронте он оставил эту надежду. В первых же боях его ранило, но, к счастью, пуля прошла мякоть левой ноги, и уже через месяц, прихрамывая, он вернулся в часть. Мысль о спасении казалась в то время бессмысленной, не он один прятал ее так далеко, что и сам себе не часто признавался, есть она в нем или нет: чтобы уберечь, не доставать на свет, под пули. Столько он

перевидал рядом с собой смертей, что и собственная представлялась неминуемой: не сегодня — так завтра, не завтра — так послезавтра, когда подвернет очередь. Здесь, на войне, мирная жизнь, кому она выпадет, чудилась вечной, странно было думать, что она может длиться год за годом десятки лет, как у деревьев или камней: время здесь имело другие измерения.

Андрею Гуськову долго везло, только однажды еще до своего отбытия с фронта он не уберется и, попав под бомбежку, был сильно контужен, взрывной волной ему начисто отбило слух, почти неделю он ничего не слышал, затем звуки постепенно вернулись. От контузии осталось смешное и досадное воспоминание: в лазарете его, глухого, прохватил звериный, ненасытный аппетит. Постоянно, каждую минуту, хотелось есть, в поисках еды он то и дело натыкался на всякие неприятности. Не слыша себя, он считал, что не слышат и его, и это его выдавало, когда он крался на кухню, чтобы раздобыть съестное, а когда он пытался договориться о добавочных порциях, на потеху выздоравливающим ему могли отвечать что угодно, он только хлопал глазами.

За три года Гуськов успел повоевать и в лыжном батальоне, и в разведроте, и в гаубичной батарее. Ему довелось испытать все: и танковые атаки, и броски на немецкие пулеметы, и ночные

лыжные рейды, и изнуряюще долгую, упрямую охоту за «языком». Гуськов не привык, да и не мог привыкнуть к войне, он завидовал тем, кто в бой шел так же спокойно и просто, как на работу, но и он, сколько сумел, приспособился к ней — ничего другого ему не оставалось. Поперед других не лез, но и за чужие спины тоже не прятался это свой брат солдат увидит и покажет сразу. В «поиске», когда захватывающая группа в пять-шесть человек кидается в немецкую траншею, вообще не до хитростей — тут уж либо пан, либо пропал, а поддержишься, побережешься, погубишь и себя, и всех. Среди разведчиков Гуськов считался надежным товарищем, его брали с собой в пару, чтобы, подстраховывать друг друга, самые отчаянные ребята. Воевал, как все, — не лучше и не хуже. Солдаты ценили его за силушку — коренастый, жилистый, крепкий, он взваливал оглушенного или несговорчивого «языка» себе на горбушку и тащил, не запинаясь, в свои окопы.

В лыжном батальоне Гуськов ходил под Москвой, весной на Смоленщине попал в разведчики, а в батарею его определили уже в Сталинграде, после контузии. Здесь, в дальнобойной артиллерии, когда пошли в наступление, стало полегче.

К зиме сорок третьего года ясно начал проглядывать конец войны. И чем ближе к нему

шло дело, тем больше росла надежда уцелеть — уже не робкая, не потайная, а открытая и беспокойная. Столько они, кто дрался с первых дней войны, вынесли и выдержали, что хотелось верить: должно же для них выйти особое, судьбой данное помилование, должна же смерть от них отступить, раз они сумели до сих пор от нее уберечься. И здесь, на войне, чудился некий спасительный испытательный срок: выжил — живи. Порой, в легкие, утешные минуты, на Гуськова находила счастливая уверенность, что ничего плохого с ним больше сделаться не может, что вот так же, как сейчас, потихоньку да помаленьку, не тряхаясь, доберется он до конечного, выстраданного, вдесятеро оплаченного дня, когда объявят победу и повезут по домам. Но светлые эти, солнечные минуты проходили, и тогда незаметно подступал страх: тысячи и тысячи, жившие той же надеждой, гибли на его глазах день ото дня и будут гибнуть, он понимал, до самого последнего часа. Откуда ж им браться, как не из живых — не из него, не из других? На что тут рассчитывать? И, поддаваясь страху, не видя для себя впереди удачи, Гуськов осторожно примеривался к тому, чтобы его ранило — конечно, не сильно, не тяжело, не повредив нужного, — лишь бы выгадать время.

Но летом сорок четвертого года, когда прямо перед носом зачехленной уже, готовой к переезду

батареи выскочили немецкие танки, Гуськова ранило совсем не легонько. Почти сутки он не приходил в себя. А когда очнулся и поверил, что будет жить, утешился: все, отвоевался. Теперь пусть воюют другие. С него хватит, он свою долю прошел сполна. Скоро ему не поправиться, а после, когда встанет на ноги, должны отпустить домой. Все — плохо ли, хорошо ли, но уцелел.

Без малого три месяца провалялся Андрей Гуськов в новосибирском госпитале. Грудь, из которой дважды доставали осколки, долго не закрывалась, не заживала. Из дому, поддерживая, прислали посылку, потом другую. Настена просилась приехать, но он рассудил, что ехать и тратиться на дорогу незачем. Все равно скоро нагрянет сам. Солдаты, которые лежали в палате по соседству, поддерживали его в этой уверенности; раненые заранее знали, кому после госпиталя ехать домой подчистую, кому на побывку, кому возвращаться на фронт. Дней на десять отпустят, — определили Гуськову, — не меньше. — Ждите. Жди, Настена! Он теперь и поверить не мог, что когда-то по пустякам обижал ее: во всем свете не было для него бабы лучше, чем Настена. Вернется, и заживут они, — знал бы кто, как они заживут! После войны наступит другой свет и другой мир для всех, для всех, а для них — особенно. Ничего они до войны не понимали, жили, не ценя, не любя

друг друга, — разве так можно?!

Но в ноябре, когда подошло время выписки, время, которого с таким нетерпением он ждал и ради которого чуть ли не лизал свои раны, его оглушили: в часть. Не домой, а в часть. Он настолько был уверен, что поедет домой, что долго ничего не мог сообразить, решив, что произошла ошибка, потом побежал по врачам, стал доказывать, горячиться, кричать. Его не хотели слушать. Можешь воевать — и точка. Его выпроводили из госпиталя, натянув обмундирование и сунув в руки солдатскую книжку и продаттестат. Топай, Андрей Гуськов, догоняй свою батарею, война не кончилась.

Война продолжалась.

Он боялся ехать на фронт, но больше этой боязни были обида и злость на все то, что возвращало его обратно на войну, не дав побывать дома. Всего себя, до последней капли и до последней мысли, он приготовил для встречи с родными — с отцом, матерью, Настеной, — этим и жил, этим выздоравливал и дышал, только это одно и знал. Нельзя на полном скаку заворачивать назад сломаешься. Нельзя перепрыгнуть через самого себя. Как же обратно, снова под пули, под смерть, когда рядом, в своей уже стороне, в Сибири?! Разве это правильно, справедливо? Ему бы только один-единственный денек побывать дома, унять

душу — тогда он опять готов на что угодно.

И Настену не пустил — не дурак ли? Знать бы заранее, вызвал бы ее к этому сроку, повидал — все легче. Она бы и проводила, а когда провожают надежней: что-то в человеческой судьбе имеет глаза, которые запоминают при отъездах, — есть к кому возвращаться или нет. Все, как на вред, не туда поехало. Если и дальше так пойдет, не живать ему на свете. Уложат в первом же бою.

Он думал о госпитальном начальстве словно о какой-то потусторонней жестокой воле, которую человеческими силами не выправить, как невозможно, скажем, очурать грозу или остановить град. Один, самый главный, бог с бухты-баракты решил, другим пришлось соглашаться. Но он-то живой человек почему с ним не посчитались? Никто, правда, ничего ему не обещал, он обманул себя сам. Но отпускали же, отпускали, он видел, знал, что отпускали, — как было не обмануться?!

Неужели действительно обратно? Рядом ведь, совсем рядом. Плюнуть на все и поехать. Самому взять то, что отняли. Самовольничали, бывало, он слышал, и ничего, сходило. А ну как не сойдет? А не сойдет — туда ему и дорога. Он не железный: больше трех лет война — сколько можно!

На станции он пропустил один состав, потом второй... Мысли Гуськова путались, терялись, он не знал, что делать. И оттого, что не мог ни на что

решиться и тратил зря время, злился еще больше. Получая по продаттестату паек, он разговорился в очереди с маленьким веселым танкистом в шлеме и на костылях, с подогнутой, толсто обмотанной правой ногой. Танкист добирался в Читу, на восток.

— А тебе куда? — спросил он Гуськова.

Гуськов неожиданно ответил:

— В Иркутск.

— Вместе поедем, — обрадовался танкист.

Так, в самый последний момент, подсадив своего нового товарища, Гуськов запрыгнул вслед за ним в поезд, идущий на восток. Будь что будет. Если сцапают, скажет, что собрался лишь до Красноярска, затем до Иркутска, решил обернуться за два-три дня — не страшно, вывернется. Иногда, задумываясь о своей выходке, Гуськов даже хотел, чтобы его сцапали и завернули обратно. Но в таких случаях везет: никто его не остановил. Поезда по-прежнему были переполнены, и все в основном народом военным, нахрапистым, к которому подступиться непросто.

Но, проехав до Иркутска больше трех суток, Гуськов не на шутку перепугался. Если двигаться дальше — дня тоже не хватит. И двух не хватит зима. А возвращаться с полдороги — зачем тогда затевал все это, зачем изводился, рисковал, настырничал, кому что хотел доказать? Да и не поздно ли возвращаться? Гуськов вспомнил

показательный расстрел, который ему довелось видеть весной сорок второго года, когда он только что пришел в разведку. На большой, как поле, поляне выстроили полк и вывели двоих: одного — самострела с подвязанной рукой, уже пожилого, лет сорока, мужика, и второго — совсем еще мальчишку. Этот тоже захотел сбежать домой, в свою деревню, до которой было, рассказывали, верст пятьдесят. Всего пятьдесят верст. А он вон откуда метнулся. Нет, не простят, даже штрафбатом не отделаться. Он не мальчишка, должен был понимать, на что идет.

Вспомнил еще он, с какой ненавистью и брезгливостью смотрели солдаты на самострела. Мальчишку жалели, его — нет. «Шкура! — говорили. — Ну и шкура! Всех хотел перехитрить».

А он, Гуськов, чем лучше других? Почему они должны воевать, а он кататься туда-обратно — вот как рассудят, вот что поставят ему в вину. На войне человек не волен распоряжаться собой, а он распорядился, и по головке его за это, ясное дело, не погладят.

В Иркутске, растерянно бродя по вокзалу, он столкнулся с глазастой, пронырливой бабенкой, которая согласилась взять его на ночевку и привела к себе, далеко за город, в предместье. Она же сама, без подсказки догадавшись, что солдатик не знает, куда себя пристроить, подтолкнула его наутро к

немолодой уже, но чистенькой, гладенькой немой женщине по имени Таня. У Тани он просидел в оцепенении и страхе весь день, все собираясь подняться и куда-нибудь, в какую-нибудь сторону двинуться, просидел так же другой, а потом и вовсе застрял, решив, что ему лучше переждать, пока его окончательно потеряют и дома, и на фронте.

У немой на краю предместья стояла своя избенка. Работала Таня уборщицей в госпитале, бегала туда на дню два раза — рано утром и вечером — приносила с собой завернутые в тряпицу нарезанные ломти хлеба, а в стеклянной баночке — кашу или суп. Хорошо еще, что ей не надо было ничего объяснять, не надо было вообще разговаривать; как по заказу, на удивление удобно и удачно ему подвернулась женщина, у которой бог отнял слово. Сказать ему нечего было даже самому себе. Порой, забывшись, он не понимал, как, почему здесь очутился, что его сюда привело, затем вдруг начинал видеть каждый свой шаг к поезду и каждый свой час в поезде до того близко и ясно, что скребло, надрывая душу. Он все еще был не в состоянии прийти в себя от случившегося и то подолгу сидел неподвижно, с пустым лицом, уставившись в одну точку, то срывался и принимался вышагивать, стараясь унять навалившуюся боль; избенка от его тяжелых шагов сотрясалась, а он все метался и метался из угла в

угол и никак не мог успокоиться. Он как-то враз опостылел себе, возненавидел себя, хорошо понимая, что в том положении, в каком он оказался, хлопот с собой не оберешься.

И это чувство, а вернее, это самочувствие, это отношение к себе обложило его надолго.

Таня была на редкость ласковая и заботливая баба: Она ничуть не страдала от своей немоты, не озлобилась, не отшатнулась от людей; ни разу, сколько Гуськов жил, он не заметил ее угрюмой или чем-то недовольной. Лицо ее не было веселым, но оно было спокойным и добрым, готовым в любой момент на улыбку. Казалось, немота ей дана не в наказание, а в облегчение. С самого начала Гуськов не мог отделаться от ощущения, что она знает о нем все. Знает и жалеет его. Точно так же ему представлялось, что он очутился у Тани не по своей воле, что его привела сюда чья-то указующая, руководящая им рука. Зачем только — чтобы помочь или осторожно, постепенно погубить?

Возвращаясь с работы, Таня доставала свои баночки и сверточки и, устроившись напротив Гуськова, жадно, с любопытством и удовольствием смотрела, как он ест. Наевшись, он в благодарность легонько хлопал ее, будто мужика, по плечу. Счастливая, растревоженная этой грубоватой лаской, она ловила его руки и прижимала к своей щеке, затем принималась что-то показывать, но он

не понимал. Горячась, она маячила на пальцах быстрее, торопливей — он мотал головой и отворачивался. Тогда, чтобы успокоить его, она оставляла попытки объясниться и виновато протягивала к нему руки.

Со временем Таня все же научила Гуськова разбирать многие свои знаки. Она втолковывала ему их с той же любовью и терпением, с какой ребенка учат говорить. Но ему была неприятна эта немая азбука, и он, как мог, отлынивал от нее. Остаться здесь надолго он не собирался. По ночам, когда Таня прижималась к нему, Гуськову не на шутку представлялось, что он слышит ее обессиленный и подталкивающий шепот — те самые слова, которые вырываются в таких случаях у всех баб. Он пытливо замирал и, веря, что ошибается, не мог все-таки освободиться от недоброго чувства, что Таня — не та, за кого она себя выдает. Но и он, и он теперь был неизвестно кто. Все в нем сдвинулось, перевернулось, повисло в пустоте. Ехал ненадолго — застрял совсем, думал о Настене — оказался у Тани. Об остальном и вовсе было страшно рассуждать. Расхлебывай — не расхлебать, кайся — не раскаяться.

Через месяц ему стало совсем невмоготу. Хоть на смерть, но дальше. Поздним вечером, когда Таня убиралась в госпитале, он сбежал от нее. Дороги назад теперь ему не было, дорога

оставалась одна — домой.

От Иркутска приходилось осторожничать изо всех сил. Показываться среди бела дня в деревнях он себе запретил: мало ли кто может повстречаться? Отсиживался на заимках, в зимовьях, в зародах сена, высматривал и пугался каждой фигуры, глухо матерился, замерзая и проклиная себя, а ночью, когда затихала жизнь, припускал со всех ног. Хорошо еще, что дни стояли короткие, спичечные.

Наконец в одну из крещенских ночей добрался он до Атамановки, остановился перед ее верхним краем и усталым, изможденным от снега взглядом окинул расходящиеся на две стороны белые крыши домов. Никаких чувств от встречи с родной деревней он не испытывал — не в состоянии был испытать. Постояв немного, он спустился к Ангаре и по льду, не видя из-под яра деревни, добрал до своей бани. Там, едва притворив за собой дверцу, он упал навзничь на пол и долго лежал неподвижно, как мертвец.

Под утро, еле волоча ноги, он поплелся на другую сторону Ангары. На плече он тащил лыжи, за поясом у него болтался топор.

Укрылся Андрей Гуськов в Андреевском, в старом зимовье возле речки. Расшурудил давно не троганную печку, вскипятил в манерке чаю и впервые за много волчьих дней согрелся. Через

полчаса его вдруг стало сильно трясти, он видел по рукам и ногам, как ходит весь ходуном, — то ли тело, долго не знавшее тепла, набрало его сразу чересчур много, то ли сказывалось нервное напряжение, постоянное ожидание вот этого мига, когда можно будет наконец расслабиться, не остря каждую минуту глаза и уши, и отдохнуть.

Еще в Иркутске, прикидывая, где ему возле Атамановки приткнуться, он выбрал именно эту зимовейку. Стоит она как нельзя лучше, в глубоком, загнутом за гору распадке, откуда не подняться дыму, топи хоть круглые сутки. Кроме того, рядом, в двух шагах, речка, и по наледи сюда можно добираться, не оставляя следа.

Ничего не поделаешь, теперь приходилось думать прежде всего об этом. Удобно, конечно, что за Ангарой, сюда и в прежние годы мало кто заглядывая, а сейчас и подавно никто не полезет. Даже для бакенщика за островом не было работы: пароходы ходили по широкому, правому рукаву.

Атамановские поля и угодья испокон веку лежали на своей стороне, их и там хватало с избытком. Охота, рыбалка, любой промысел тоже были под своим боком, места к Лене я по зверю, и по ореху, и по ягоде считались богаче, поэтому за реку плавали редко. Остров напротив деревни, правда, косили, а заодно и обирали от ягод, он так — Покосным — и назывался.

Но еще до японской войны пришел в Атамановку из Расеи переселенец Андрей Сивый с двумя сыновьями. Пообсмотрелся, поогляделся и, на удивление мужикам, выбрал себе место для хозяйства за Ангарой. Избу поставил, как все люди, в деревне, а целину для пашни разодрал здесь. Особенно много ему корчевать и не пришлось, полян и прогладей, удобных для работы, тут было достаточно.

Срубил два зимовья: одно у речки, поближе к покосам, второе повыше, на взлобке, километрах в двух от первого, и повел хозяйство, да еще как повел!

С тех пор край этот и стали называть Андреевским, по имени Андрея Сивого.

Сам он к колхозной поре успел умереть, один из его сыновей не пришел с германской, а второго в тридцатом году раскулачили и вместе с семьей куда-то выслали. Так и не пустил переселенец Андрей Сивый корни на новой земле.

Поля его, как и следовало ждать, колхоз забросил. Стоило ли ради нескольких гектаров снаряжать людей и весной, и летом, и осенью к черту на кулички? Переплавлять через Ангару сеялки, жатки? Заводить ради этого паром? Действительно, стоило ли?

И вот теперь Андрей Гуськов должен был помянуть добрым словом переселенца Андрея

Сивого, давшего ему удобное со всех сторон и надежное пристанище.

Если его жизнь здесь затянется, нижнее зимовье годится только до лета. Затем придется перебираться в верхнее или куда-нибудь еще — на тот случай, если сюда вдруг вздумает заглянуть рыбак или какая другая беспокойная душа.

И он решил: надо завтра же сходить к верхнему зимовью, посмотреть, что с ним случилось. Лыжи есть. По речке он поднимется вперед, потом на лыжах сделает крюк и пойдет с другого конца. Надо как-то устроиваться, если хочешь жить, оглядываться, что у него есть, с чем начинать новую жизнь. Ружьишко бы. Надо объявиться Настене, больше никому. Один он пропадет.

Вяло поразмыслив обо всем этом и чуть успокоившись от бившей его дрожи, он подкинул еще в печурку, свалился на нары и спал без просыпу сутки кряду, до утра следующего дня.

5

Вечером, как никогда ранняя в этом году, была подписка на заем, и Настена размахнулась на две тысячи. Только один Иннокентий Иванович из деревни дотянул до этой цифры, но у Иннокентия Ивановича, всякий знал, денег куры не клюют, его так и звали: Иннокентий Карманович, а из чего, из

каких шишей собиралась рассчитывать Настена, она и сама не представляла. Михеич занемог или отговорился хворью, и на собрание пошла Настена, а о чем, по какому вопросу оно будет, заранее не сказали. И вот нате — бухнула. Уполномоченный похвалил, народ подивился, а Настена и сама испугалась своей смелости, но слово, как известно, не воробей, вылетит — не поймаешь. Отступить было поздно. Какой-то понимающий голос изнутри успокоил Настену, что она делает правильно. Коль сказала, значит, что-то подтолкнуло ее так сказать, неспроста это вышло. Может, хотела облигациями откупиться за мужика своего... Кажется, о нем она в это время не думала, но ведь мог и за нее кто-то подумать.

Михеич, как пришла и заикнулась про заем, сразу спросил:

— Ну и на сколь?

— На две тыщи.

Он вскинул от починки, за которой сидел на лавке, голову и не поверил:

— Ты че, дева, со мной шутки шутишь?

— Какие шутки...

— Ас ума не спятила? Они, может, у тебя есть? Может, спрятанные лежат?

— Нету.

— Чем ты в таком разе думала? Где ты их собираешься брать? Меня или ее, — он кивнул на

печку, где лежала Семеновна, — может, хочешь загнать? Дак нас никто даром не возьмет.

— Сказали, в последний раз. Для победы.

— Для победы...

На печи завозилась Семеновна, высунула голову:

— Це, це она говорит?

— Говорит, что богатые сильно стали. Что денег много накопили. Так много, что девать некуда.

Настена пошла на свою половину, за ситцевую занавеску, где они с Андреем спали раньше и где до сих пор стояла ее кровать. Настена знала, что Михеич покипит, покипит и остынет, а свекровь, когда разберется, что к чему, заведется надолго, ее пару хватит на месяц, а то и больше. Черт с ними! Выплатит она как-нибудь эти деньги, что-нибудь потом придумается. И собрание не последнее... Зато благодаря подписке заработала она право завтра ехать в Карду, и две тысячи вышли ей тут козырным тузом, без них у нее, конечно, ничего бы не получилось.

Она все рассчитала правильно. После собрания, видя, что Нестор, председатель колхоза, доволен подпиской — спущенную цифру подняли, не уронили, — с улыбочкой, что твоя именинница, подкатила к нему:

— Нестор Ильич, — Даже повеличала, чтобы

подольститься, — кто завтра товарища уполномоченного поедет отвозить? Нестор хитро прищурился на нее и окликнул:

— Товарищ уполномоченный, а товарищ уполномоченный! Тут вот наша сегодняшняя ударница изъявляет желание с тобой завтра до Карды прокатиться. Как ты — не против?

Подошел уполномоченный, какой-то мятый весь, подержанный мужичонка с пучками волос на голове, и заворковал, заглядывая Настене в глаза:

— Какой же мужчина будет против? Я даже мечтать о таком провожатом не надеялся.

Нестор по-свойски хлопнул его по плечу:

— Ты только обратно ее потом отпусти. — И подмигнул Настене. — Долго не держи, а то у нас и так тут работать некому.

Завтра она поедет в Карду. Предстояло еще сообщить эту новость Михеичу, но лучше утром, на сегодня ему хватит и двух тысяч. Господи, что у нее теперь за жизнь пойдет?! Что с ними будет?! Что будет?!

...Той ночью, о которой уговорились в первую встречу, Настена отнесла Андрею ружье. Отыскала и патроны, но провианту у Михеича не было, и она с трудом наскребла на два-три заряда. Этого, конечно, мало, Андрей так и сказал, но собирать по деревне она боялась: тут же передадут свекру, и он всполошится. Деревня маленькая, и кто

к кому вчера ходил за солью, кто у кого занимал до выпечки ковригу хлеба, знают все. Настена и так тайком от Михеича сняла в амбаре со стены ружье, завешанное одеждой; хватится неизвестно, что будет. Пока об этом не хотелось даже думать.

Андрей на этот раз в бане показал себя совсем другим человеком. Не стращал ее, не вздрагивал при каждом звуке, а сидел молча, потерянно, убито, сидел и не мог ничего сказать. Ей до того стало жалко его, что она чуть не разревелась. Уходя, он открылся:

— Выберешься, прибегай ко мне в Андреевское, в нижнее зимовье. Я там. И попросил дрогнувшим голосом: — Прибегай, Настена. Я буду ждать. Но только чтоб ни одна собака тебя не углядела.

Ради уполномоченного дали доброго коня, Карьку, на котором ездил сам Нестор. Настена запрягла его в председательскую же кошевку, подкинула в нее сена и подвернула Карьку к избе Нестора, где ночевал уполномоченный. Там еще только усаживались за чай, и Настена поехала к себе, чтобы сразу собраться и больше домой не возвращаться.

Утром, когда поднялись, Михеич как будто даже обрадовался тому, что Настене выпала эта поездка. В доме вышел керосин, и уже дважды Михеич воровски приносил его в бутылке из своей

конюховки, да еще раз бегала прямо с лампой Настена к Надьке. И спички пора подновить, соль. Была надежда и на мыло, но надежда слабая, давно уж его не видели в глаза, стирали щелоком. В Атамановке с двадцатого года, когда партизан Гаврила Афанасьевич утопил в проруби торговку Симу, державшую лавку, негде было гвоздя купить, и за всякой даже чепуховой надобностью приходилось снаряжаться в Карду.

Но что особенно вышло удачно — Михеич сказал:

— И посмотри там, дева, в охотке пороху да дроби. Оно и стрелять уж с какой поры не стреляю, а про запас иметь надо. Может, по весне козуля в огород заскочит.

Он вынес из кладовки железную банку под керосин и бросил к ногам Настены свою собачью доху.

— Седни-то обратно ждатель, нет?

— Не знаю. Как магазин. Как обернусь.

— Но-но. Не седни, дак завтра. — И не утерпел, вспомнил: — Не могла ты вчерась с самого утра куда-нибудь ухлестать. Не навязала бы мне на шею эти две тыщи. Шутка ли? А? Молчишь, дева? Ты бы вчера лучше помолчала или вполовину мене язык-то свой высовывала, а сегодня можно и поговорить. Ладно, езжай с богом, езжай. И зайди там еще в сельсовет, узнай, нет ли чего нового про

Андрея. И на почту загляни. Может, письмо лежит или бумага какая.

Семеновна уж в который раз зудила с печки:

— Я бы где же одна ш чужим мужиком поехала. Да ишо по нонешним-то временам. О гошподи! Не знают, на кого и вешаться. — Половину букв Семеновна не выговаривала. — Ить он за кошевкой вшю дорогу не побежит, ить он ш ей рядом шядет.

— Ладно, ладно, старая, не выдумывай, — останавливал ее Михеич. Лежишь — ну и лежи себе, не насбирывай что попало. Нашла за кого бояться за Настену!

Добрая душа Михеич. Не он — Настене в эти годы пришлось бы совсем худо. Семеновна готова держать ее на привязи, от работы да от хозяйства не пускать ни на шаг. А на кого, спрашивается, тут заглядываться, когда на всю деревню один мужик, да и тот припадочный Нестор, которого и на войну-то из-за болезни этой не взяли и за которым в четыре глаза смотрит, в шесть рук хватается собственная баба. Михеич сам выпроваживал Настену за дверь: иди, иди, дева, к бабам на посиделки, поговори, посмейся, ты молодая, чего с нами, со стариками, киснуть.

Добрая душа Михеич, но скоро, похоже, разладится и с ним. Хватится он ружья, хватится одного, другого, а ей и ответить нечего. На воров

сваливать нельзя: пойдет шум, начнут допытываться, доискиваться, и всплывет у кого-нибудь нечаянная догадка: почему воруют только у Гуськовых? Не свой ли человек рядом ходит, не своим ли пользуется, зная, где что лежит? Андрей запретил даже близко намекать о себе отцу. Вот тут и выкручивайся. Семеновна уж потеряла на днях ковригу, которую Настена унесла Андрею во вторую встречу, — пришлось придумать, что заняла Надька. А что будет дальше?

Поэтому в Карду Настене надо было позарез. Везла она с собой в отдельном узелке шерстяную вязаную кофту и, на всякий случай, если не позарятся на кофту, дорогую и красивую серую оренбургскую шаль, которую Андрей купил ей еще в первый год, как сошлись. Везла, чтобы обменять на муку. Картошки с ведро она Андрею утащила, а муку отсыпать побоялась: ее и всего-то в ларе осталось квашни на две. Будет у мужика мука — все легче: можно стряпать лепешки и потихоньку прикусывать. Обменивать она станет как бы для эвакуированной Маруси.

Карда — деревня большая, и концы в воду там спрятать можно. Кофту Настена, кстати, у Маруси и выменяла в прошлую зиму, так что тут правду от неправды почти не отличить. Вся Карда знает, что Маруся со своими ребятами всю войну только тряпками и спасалась.

Выехали уж поздно, когда поднялось оплывшее прозрачное солнце. Мороз после крещенской заверти давно отпустил, утро было прохладное, но ясное и податливое к теплу, чувствовалось, что днем отмякнет еще больше. Карька сразу от деревни взял ходко и не терял рыси, кошечка по накатанной дороге скользила, как по льду, весело поскрипывая полозьями. От полей, покрытых снегами, поднималась парная синь, в воздухе перед окоемом мерещились стоячие белесые полосы. На голых березах сидели молчаливые вороны и чистили крылья, по-куриному оттопыривая их на сторону. Все вокруг, пригревшись, дышало свободно и жадно. До весны еще жить да жить, а она уже сказывалась, обещалась быть.

Настена бросила доху в ноги уполномоченному и встала у головок на колени, лицом вперед. От подков в лицо летел снег; Настена жмурилась, но не отвертывалась. Эта быстрая, с ветерком, езда, этот, казалось, протиснувшийся не в свой черед, словно специально для нее выдавшийся, тронутый весной день вызвали в Настене возбуждение, нетерпение, желание делать что-то наперекор всем, даже себе. Хватит, насиделась курицей в курятнике — вперед, Настена! Не бойся, Настена, — вперед! Радость твоя теперь должна быть особой радостью, твоя

печаль от всех должна быть далеко. А ты не трусъ: гони, скачи, не оглядывайся.

Уполномоченный лез с разговорами — она неохотно отвечала. Есть же такие мужики: все вроде на месте, а не мужик, одна затея мужичья. Вот и этот такой — ему только на облигации баб и подписывать. Не говорит, а всхлипывает, и лицо как застиранное: сколько раз за жизнь умывался — все, как на материи, осталось на нем, вот-вот местами покажутся дырки.

Кончились поля, проехали речку, и с обеих сторон встал вековой ельник. Здесь было тихо и мертво — ни ветерка, ни собственного звука, только цокал копытами Карька. Лишь изредка с веток, дымя, опадал снег да чуть подрагивали в вышине сходящиеся над дорогой острые верхушки деревьев — вот и вся жизнь.

Но уполномоченный здесь неожиданно осмелел. Сидел, сидел и вдруг схватил Настену сзади за ноги, повалил на себя и захрюкал. Настена ловко сама не думала, что так сумеет, — вывернулась и тут же вывалила его из кошевки в снег; Карька испугался и поддал, а Настена не стала его удерживать: пусть промнется товарищ уполномоченный, погорячит свою кровушку ножками. Три с половиной года, как доска, жила одна, но на такого ни за что никогда не позарилась бы. А теперь у нее есть мужик, не этому чета,

как-нибудь успокоит.

Уполномоченный подбежал, запыхавшись, и, ничего не поняв, приняв Настенино сопротивление за игру, снова полез к ней. Пришлось осадить его как следует. Он захлопал глазами и притих, а через полчаса, словно вывернувшись, уже хвастал женой, рассказывал о ребятишках. Настена успокоилась — давно бы так — и заторопила Карьку.

В Карду приехали засветло, магазин, на счастье, был открыт. И тут повезло: оказалось, что есть и керосин, и провиант — самое главное, чем можно прикрыться перед Михеичем. И сразу же явилась отговорка, которую она представит свекру: мол, в первый день керосину не было, ждала, когда привезут. Против такой причины возразить нельзя. Мылом Настена, конечно, не разжилась, а спички и соль купила. Присмотревшись, выглядела еще свечи и взяла пять штук — откуда, из какой церкви их сюда занесло, неизвестно. Сроду Настена не помнила, чтоб в сельпо продавали свечи, а тут, как по заказу, лежат, горюют, уже старые, почерневшие, погнутые. Три она отвезет домой, а две оставит Андрею — все будет мужику чем посветить, когда понадобится, все иной раз станет веселее.

Правду говорят: коль повезет, то повезет до конца. Вечером Настена легко обменяла кофту на полпуда муки, шаль не пришлось даже показывать.

Это так ее обрадовало, что на ночь глядя она засобиралась было обратно, да, слава богу, одумалась. Ночью спала и не спала, слышала сквозь стены, как хрумкает сено Карька, как отряхивается он от мороза и перебирает ногами. Помаялась, помаялась, тихонько поднялась, запрягла Карьку, тайком от хозяйки, знакомой солдатки, у которой остановилась, подбросила в кошевку сена на день коню и выехала. Ни одна собака не брехнула ей вслед, ни один звук не отделился от пристывшей во сне деревни.

За последними избами Настена потянула коня вправо, на Ангару. Карька непонимающе остановился: дорога домой шла прямо. Озлясь, Настена огрела его вожжами. Опять, как и вчера, ее охватило нетерпение, от него она вся тряслась, как в лихорадке, и готова была выскочить из саней и бежать поперед Карьки. Скорей, скорей! Знала, что нельзя гнать коня через Ангару: угодит где-нибудь в расщелину и останется без ноги, — и все-таки погнала. Она торопилась затемно, чтобы ее не увидели, проскочить Рыбную. Сердце колотилось во всю мочь, и, поддаваясь ему, Настена подпрыгивала, вертелась на подстеленной сверху дохе, размахивала вожжами и выкрикивала какие-то непонятные и жуткие слова. Скорей, скорей...

Все скорей, все, что есть и что будет!

И лишь когда Рыбная осталась позади, она попридержала Карьку и опустила вожжи. Теперь недалеко. Вся ее лихорадка как-то разом пропала, на душу пала пустота. Где-то в груди горчило, будто она наглоталась дыму, а отчего, Настена не знала.

По тому, как потускнела ночь, она поняла, что скоро начнет светать.

Она ехала и думала: вот и научилась ты, Настена, врать научилась воровать. А ведь это только начало — что с тобой, Настена, будет дальше? Но вины она за собой все-таки не чувствовала, не признавала, хотелось лишь краешком глаза заглянуть вперед, подсмотреть, чем все это кончится.

Уже рассвело, когда она остановила Карьку, взяла его в повод и повела по наледи в открывающийся с берега распадок.

6

— Ну, здравствуй, что ли, — сказала Настена и осторожно улыбнулась.

Она застала его врасплох. Он не слышал, как она подъехала, как, наскоро привернув коня вожжой к оглобле, оставила его на речке и тихонько подошла к зимовейке. Он спал, натянув на голову полушубок. И только когда Настена стала

открывать дверку — его будто взрывной волной сбросило с нар, едва удержался на ногах. И вот теперь, взлохмаченный и ошалелый, он стоял перед Настеной, все еще не в силах поверить, что это она, и испытывая противное и досадливое чувство, что так перед ней напугался.

Наконец-то Настена могла разглядеть его: все та же корявая, слегка вывернутая вправо фигура и то же широкое, по-азиатски приплюснутое курносое лицо, заросшее черной клочковатой бородой. Глубоко посаженные глаза смотрели вызывающе и цепко, по шее беспокойно взад-вперед, как челнок, ходил острый кадык. И похудел, осунулся, поджался, а не надломился — видно, что сила и крепость еще остались, казалось, тронь — и зазвенит, спружинит от любого удара. Он, знакомый, близкий, родной Настене человек, и все же чужой, непонятный, не тот, кому она знала, что говорить и как спрашивать, и кого провожала три с половиной года назад.

— Вот, — виноватой улыбкой снова начала она, — приехала поглядеть, как ты тут. Ты не думай, никто не видел. Я уж сегодня из Карды прикатила, пока ты тут спал. Кой-чего привезла тебе на черный день.

— У меня теперь все дни черные, — впервые отозвался он.

Он был в ватных брюках и шерстяных носках.

Только сейчас Настена заметила, что одна щека у него обморожена, на ней темнело пятно.

Понемножку он приходил в себя: сунул ноги в валенки, взялся за печурку. Настена шагнула было к двери, но он остановил:

— Куда ты?

— Да надо затащить сюда хозяйство-то мое, а то что ж на морозе будет.

— Сейчас пойдем вместе.

Они оставили в кошевке только банку с керосином, все остальное занесли в тепло. Потом отогнали Карьку вверх по речке за поворот, распрягли его там и подпустили к сену. И все молча, не лучше, чем чужие, обходясь самыми необходимыми словами, вроде — «возьми» да «подай».

Настена все еще не знала, как к нему подступиться и что сказать, а он то ли по-прежнему не мог преодолеть свою растерянность и оттого злился, то ли не решался сразу натягивать соединявшие их связи, которые за эти годы, неизвестно, сохранились или нет.

Пока управлялись с конем, в зимовейке нагрелось, и Настене пришлось раздеться. Она присела на нары, застланные пихтовым лапником, и сразу поднялась — нет, надо было что-то делать, чем-то успокоить себя и его, каким-то пустяком связаться вместе. Подошла к двери, где лежали

сваленные в одну кучу манатки, выпростала из дохи наволочку с мукой и похвастала ему:

— Вот, достала в Карде муки тебе. Будешь лепешки стряпать. Он в ответ бегло кивнул.

— Это что же получается? — обиделась Настена. — Почему ты меня так встречаешь-то? Слова не скажешь. А я к тебе на всех рысях середь ночи летела, думала, обрадуешься. Может, мне лучше назад повернуть?

— Не пущу!

По тому, с какой решимостью, с какой злой, откровенной уверенностью он это сказал, Настена поняла: не пустит, ни за что не пустит. Она подошла к нему и вытянутой вперед, слабой, щупающей, как у слепых, рукой коснулась его головы.

Он повернул к ней побледневшее лицо и сказал:

— Неужто думаешь, я не рад, что ты приехала? Рад, Настена, еще как рад! Да радость-то у меня теперь ишь какая: ей требуется знать, нужна она или нет, можно ее показывать или нельзя.

Настена ткнулась ему в грудь головой:

— Господи! О чем ты говоришь? Я же тебе не чужая. Мы с тобой четыре года вместе прожили — или этого мало?

Он попридержал ее за руки и, не ответив, отпустил. Но она уже видела, что он поддается ей,

отходит — вот и голова, не выдержав, склонилась набок, на подставленное плечо, — верный, только ей одной известный признак того, что он оттаял. По этому признаку она определяла раньше его настроение: если голова набок — говори, что хочешь, смейся, дури — все простит и поддержит, потянет в игре еще дальше и успокоится не скоро и не охотно. Нет, что-то осталось в нем от прежнего Андрея. Она улыбнулась ему неполной, наполовину придержанной, требующей поддержки и взаимности улыбкой и сказала:

— А я ведь тебя в первый раз сегодня только и увидела. Чудной ты с этой бородой.

— Почему чудной?

— Да какой-то... — Она засмеялась и так же прикусила, остановила смех. — Как леший. Я в бане понять не могла, кто со мной — ты или леший. Думаю, своему мужику берегла, берегла, а тут с нечистой силой связалась.

— Ну и как нечистая сила?

— Ничего. Но свой мужик лучше.

— Хитрая ты. Никого не обидела. Принеси-ка мне в следующий раз бритву, уберу я эту лохматину.

— Зачем?

— Чтобы не походить на лешего. — Он сказал и тут же одумался. — Хотя нет, не буду. Пускай торчит. Чтобы не походить на себя. Уж лучше на

лешего.

— Господи! Что ж я мужика-то своего не кормлю, — спохватилась Настена. — Приехала тут разговоры разговаривать. — В заполохе она забыла, что они не успели еще двух слов сказать. — Ну, баба! Вот что значит: давно никто не колошматил.

Он внимательно посмотрел на нее и хмыкнул:

— Никто, говоришь, не колошматил?

— Ну.

— Соскучилась, что ли?

— Ну, так некому было на ум наставить.

Ладно, садись, я сейчас.

— Надо хоть чаю поставить, — вспомнил он.

— Ставь — что ты стоишь, как неживой.

Воды, что ли, у тебя тут нету?

Ей нравилось хоть ненадолго почувствовать себя хозяйкой и покомандовать над ним — так редко это случалось раньше, и неизвестно, удастся ли впереди. Она заставила его подбросить в печку и сбегать на речку за водой, потом развязала на его глазах свой узелок и открыла на свет ковригу ржаного хлеба и большой кусок сала. Сало еще с осени припрятала Семеновна для него же, для Андрея, когда ждали его на побывку. Побывка сорвалась, но приготовленное для встречи по какой-то старой, суеверной примете не трогали: изведешь жданки не дожدهшься и встречи. С месяц назад Настена нечаянно наткнулась на сало,

завернутое в тряпицу и затолканное в дальний угол на полке в амбаре, и вот вчера половину отрезала. Для кого хранится — тому и пригодится. Где-то так же стоит, наверно, в запыленной бутылки самогонка, ждет, когда ступит Андрей на отцовский порог и придет час поднять за него, желанного, стаканы.

Еще до войны видела однажды Настена в кино (ей и всего-то три раза довелось посмотреть это чудо), как городская баба, не зная, чем угодить мужику, которого она без ума любила, кормила его, как маленького, из рук. Вспомнив сейчас об этом, Настена из какой-то вдруг приспичившей, незнакомой ей раньше причуды тоже решила подносить куски сала в рот Андрею, но он не позволил. Ей стало и неловко за себя, и весело, словно она переступила уже через какую-то мелкую стыдинушку и теперь могла ступать дальше. Но чай им пришлось пить из одной посуды — из крышки от солдатской манерки, передавая ее из рук в руки, и то, что Настена брала эту крышку после Андрея, а затем снова передавала ему, почему-то также волновало ее.

Да и все здесь волновало и в то же время пугало Настену — и запущенная, без жилого духа, зимовейка с как попало набросанными на землю плахами вместо пола, с прогнувшейся в потолке доской, с черными, в засохших тенетах, неровно стесанными стенами, и не тронутый ничьим

следом, блестящий на солнце снег за окном, спадающий с горы огромным валом, и Андрей рядом, признанный теперь уже при свете дня, но не ставший от этого более понятным, и сама она, невесть как и зачем очутившаяся в этом дальнем, заброшенном углу. Отвлекшись на мгновение, она всякий раз поражалась, что видит перед собой Андрея, и тогда приходилось делать немалое усилие, чтобы вспомнить, почему он здесь. Лишь после этого все становилось на свои места, как оно есть, но стояло непрочно, шатко, так что положение это нужно было постоянно поддерживать, чтобы не уплыло оно опять куда-то и не потерялось — настолько все казалось неправдашным, придуманным или увиденным во сне.

Настена словно бы играла в прятки сама с собой: то была уверена, что все это со временем обязательно кончится хорошо, стоит лишь выждать, потерпеть, то случившееся вдруг открывалось такой проваленной, бездонной ямой, что от страха перехватывало дух. Но она не показывала страх, притворялась веселой. Неизвестно еще, что будет завтра, а сегодня ее день, сегодня за целые годы можно устроить выходной, дать свободу и отдых всему, что в ней есть.

Она съела за столом совсем немного, чтобы не отнимать у Андрея, и, разморенная теплом, зевнула.

— Наши думают, я в Карде, а я тут у тебя, —

неизвестно к чему сказала она. — Вот бы знали.

Андрей не ответил.

Она постелила на нары доху, скинула с ног валенки и улеглась, широко раскинув руки. Андрей покосился на нее из-за стола — она, чтобы подразнить его, закрыла глаза, словно засыпая, и примолкла. Но едва он стал подходить, она быстро, одним рывком вскочила на колени, выгнулась вперед и бойко, по-девчоночьи, протараторила:

— Отскочь, не морочь, я тебя не знаю.

— Чего-чего?

— Отскочь, не морочь, я тебя не знаю.

— Гляди-ка ты!

Поддаваясь игре, он прыгнул к ней, она увернулась, поднялась возня, как когда-то давным-давно, в первый год их совместной жизни. Ох и дурили же они — пыль столбом стояла. Настена была не из слабеньких и сдавалась не сразу, с него, случалось, семь потов сойдет, пока она попросит пощады. Но сейчас ей почему-то не хотелось пытаться его силу, она опустила руки. Он понял это по-своему и заторопился, засуетился, как мальчишка, — тогда она осторожно, чтобы не обидеть, удержала его:

— Тише, Андрей, не гони, не надо. Любовь-то моя сколько без корма, как худая кобыла, жила. Не надорви ее, не понужай.

Он послушался и, как никогда раньше, в

первый раз, сколько она его знала, обошелся с ней ласково и внимательно, подлаживаясь под нее и угадывая каждое ее маленькое желание.

Отдыхая, Настена испытала неловкое и забавное чувство, будто она была не со своим, а с чьим-то чужим мужиком, на которого не имела права. Но чувство это скоро прошло. Она стала уже забываться, когда на мгновение ей показалось, что только что каким-то чудом ей удалось подглядеть себя далеко вперед нынешнего дня; что-то там было иное, чем здесь, но и там она тоже мелькнула не одна, хотя он в ее глазах почему-то не удержался, и она не знала, Андрей это был или кто-то другой. Наверное, Андрей, ни о ком больше она не помышляла.

Ей захотелось что-нибудь сказать ему, что-нибудь хорошее, свое, но, не найдя больше, с чего начать, она попросила:

— Покажи, где ранило-то тебя...

Он расстегнул рубаху и открыл на груди красноватые рубцы. Настена осторожно погладила их.

— Бедненький... убить хотели... совсем зажило, не болит?

— Сейчас, уж лучше, только ноет. Особенно в непогоду. А так — будто мешает все время, будто торчит что-то, не притерпелся еще.

Только что, час назад, она не могла взять в

толк, как и почему очутилась здесь, а теперь ей уже представлялось, что она и не знает ничего другого, что она находилась в этих стенах всегда. Все, что можно было припомнить из какой-то иной жизни, смутно виделось позади беспорядочными обрывками растерянных снов. Неужели где-то там есть еще люди, война, смерть и беды? Когда это было, и было ли это когда-нибудь вообще? Воздух в зимовейке горчил, густая, неземная тишина убаюкивала, укрывала от всяких забот и хлопот, пьянила свободным и одиноким существованием. Успокоившееся тело раскинулось во всю сласть, лежало молча и забывчиво, не напоминая о себе ни одним желанием.

— Ты не рассердишься, если я усну? — слабым и счастливым голосом спросила она.

— Спи, спи.

Он приподнялся на локте, чтобы видеть ее, — она уже спала. Красное от зимнего загара, круглое лицо обмякло и светилось сквозь сон вольной улыбкой. Оно за эти годы чуть поддубело, огрубло, с него исчезли совсем, а исчезать стали еще при нем, девическое нетерпение и удивление, которые вечно были на виду: ой, как интересно, а что дальше? Сказка скоро кончилась, все тайны были открыты, а если и выпадало иной раз что-то еще удивительное, то оно догоняло, казалось, из прошлого, из того, что в спешке было пропущено

по пути.

На грудь, где расстегнулась кофта, Настена положила руки, и они вздымались вместе с грудью, чуть пошевеливаясь в пальцах. Андрей заметил, что руки тоже набрякли и потяжелели — это от работы... От глубокого и ровного дыхания исходил теплый и сладкий, парной запах.

Он придвинулся к Настене вплотную, осторожно обняв, и услышал, как бьется ее сердце. Оно стучало отчетливо и близко, с каждым тукающим ударом наполняя его неясной, болезненной тревогой. Она, тревога эта, все прибывала и прибывала, и оттого, что он не знал, к чему она относилась и что предвещала, было еще беспокойней. Лежать больше он не мог и поднялся, тихонько сполз с нар и воровато, из-за спины, оглянулся на спящую Настену. «Спи, спи», — зачем-то шепнул он, но больше всего он хотел, чтобы она проснулась. Быть рядом с ней и не слышать ее, пропустить все, что она могла бы сказать и сделать, становилось невмочь, в груди быстро выстыло и опустело, сжалось, требуя движения и тепла.

Он вышел на воздух и зажмурился — так неожиданно ярко и резко ударил в глаза свет. Казалось, все солнце, стоящее как раз над горой, скатывалось с горы сюда. Снег пыхал, искрился, а в легких тенях отливало мякотной синью. Тепло

было весеннее, с запахом. На углу крыши у зимовейки наплавлялась сосулька, на мелких от снега, проплешистых местах распрямлялся голубичник.

Андрей дышал с придыхом, словно давясь воздухом, Он сходил напоить коня, затем спустился к Ангаре, чтобы посмотреть, не видать ли чего постороннего. Но беспокойство не исчезало. Андрею казалось, будто сейчас, как раз в эти минуты он по своей глупости теряет что-то важное, невозвратное, донельзя необходимое ему, чего потом не найти.

Он вернулся в зимовейку — Настена все еще спала. Не находя места, он опять приткнулся к ней, прильнул головой к ее груди, но, задыхаясь от близости, отстранился. Настена во сне нашла рукой его голову, провела по волосам, и от этого прикосновения ему вдруг стало легче. Он закрыл глаза и, чувствуя на плече спасительную руку Настены и представляя, как он, медленно кружась, вворачивается в какую-то мягкую и просторную пустоту — это всегда помогало ему уснуть, — скоро забылся.

Они проснулись одновременно. Настена открыла глаза, взглянула на него, и он, вздрогнув, очнулся. Она улыбнулась ему.

Солнечное пятно из окна сместилось далеко к двери: день пошел под уклон.

— Так сладко поспала, — сказала Настена. — Уж и не помню, когда еще так доводилось — на самом дне. А все потому, что рядом с тобой. Гляжу на тебя и не верю, что это ты. А во сне, вот видишь, поверила, растаяла до последней капельки. Спокойно-спокойно было...

После сна они встретились словно бы заново и смотрели друг на друга с удивлением и ожиданием. Настена хотела подняться, но он удержал, и она, обрадованная этим, засмеялась.

Они все оттягивали и оттягивали разговор, хоть и понимали, что никуда от него все равно не деться.

7

— Возвернись я туда, я бы там и остался — это точно. Сколько держался, воевал и воевал, не прятался, не хитрил, а тут нашло. Нашло-наехало так — не продохнуть. Зря это не бывает. Зря не зря — теперь уж дело сделано, переделывать поздно.

Он лежал с закрытыми глазами — так легче было говорить — и говорил с той рвущейся, прыгающей злостью, какая бывает, когда ее не к кому обратиться.

— Но как, как ты насмелился? — вырвалось у Настены. — Это ж непросто: Как у тебя духу хватило?!

— Не знаю, — не сразу ответил он, и Настена почувствовала, что он не прикидывается, не выдумывает: — Невмоготу стало. Дышать нечем было — до того захотелось увидеть вас. Оттуда, с фронта, конечно, не побежал бы. Тут показалось вроде рядом. А где ж рядом? Ехал, ехал... до части скорей доехать. Я ж не с целью побежал. Потом вижу: куда ж ворочаться? На смерть. Лучше здесь помереть. Что теперь говорить! Свинья грязи найдет.

— Война кончится, — может, простят, — неуверенно сказала Настена.

— Нет, за это не прощают. За это, если бы можно было расстреливать, а после сызнава поднимать, расстреливали бы по три раза. Чтоб другим неповадно было. Моя судьба известная, и нечего теперь о ней хлопотать. Я шел и думал: приду, погляжу на Настену, попрошу прощенья, что сломал ей жизнь, что гнул без нужды да изголялся, когда можно было жить. И правда — чего не жилось? Молодые, здоровые, всем, как нарочно, друг под друга подогнанные. Живи да радуйся. Нет, надо было каприз показывать, власть держать. Вот дурость-то. И сам же понимал, что дурость, не совсем ведь остолоп, понятие какое-то есть, а остановиться не мог. Казалось как: успеем, наживемся, налюбимся — век большой. Вот и успели. Думаю, приду, покажусь Настене на глаза,

покаюсь, чтоб извергом в памяти не остался, погляжу со сторонки на отца, на мать, и головой в сугроб. Зверушки постараются: приберут, почистят. А уж чтоб вот так с тобой быть — и не надеялся, не смел. Это-то за что мне привалило? За одно за это, если б жить не вспохват, я должен тебя на руках носить.

— Ну что ты, что ты, — начала Настена, но он перебил ее:

— Погоди. Начал, так dokonчу, потом, может, не придется. Мне теперь про себя оставлять ни к чему, не пригодится. Что есть, то и выкладывай. Вот. Пришел, думал, ненадолго, думал, до прощенья да до прощанья, а сейчас уж охота до лета дотянуть. Посмотреть напоследок, какое лето. Охота, и все хоть убей. А тут ты сегодня обогрела — в пору скулить от радости. — Он поперхнулся, сглатывая комок в горле, и помолчал. — Мне от тебя много не надо, Настена. Ты и так сколько сделала. Потерпи еще эти месяцы, потаись, а там, придет пора, я сгину. Но потерпи. Немало ты от меня вынесла, вынеси еще и это.

Настена подумала, что надо бы вскинуться, обидеться, но двигаться почему-то не хотелось, слова не отделялись из одной общей тяжести, и она промолчала. Он помедлил, подождав, и продолжал:

— На людях нам больше не жить. Ни дня. Когда захочешь, когда жалко меня станет, приходи.

А я молиться буду, чтоб пришла. На люди мне показываться нельзя, даже перед смертным часом нельзя. Уж что-что, а это я постараюсь довести до конца. Я не хочу, чтоб в тебя, в отца, в мать потом пальцем тыкали, чтоб гадали, как я прятался, следы мои нюхали. Чтоб больше того придумывали, косточки мои перемывали. Не хочу. — Он приподнялся и сел на нарах, лицо его заострилось и побледнело. — И ты — слышишь, Настена? — и ты никогда никому, ни сейчас, ни после, никогда не выдашь, что я приходил. Никому. Или я и мертвый тебе язык вырву.

— Ты что, Андрей?! Ты что?! — испугалась Настена и тоже приподнялась, теперь они сидели рядом, касаясь локтями друг друга, и она слышала его тяжелое, гудящее, как в полости, дыхание.

— Я тебя не пугаю. Тебя ли пугать, Настена?! Ты для меня весь свет в окошке. Но помни, всегда помни, живой я буду или неживой, где для меня горячо и где холодно. Потом, когда все это кончится, ты еще поправишь свою жизнь. Должна поправить, у тебя время есть. И может статься, когда-нибудь тебе будет так хорошо, что захочется за свое счастье выпростать себя до конца, сказать все, что в тебе есть. Это не трогай. Ты единственный человек, кто знает про меня правду, остальные пускай думают что хотят. Ты им не помощница.